

Праздники

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

Наталии Николаевне
и Ивану Александровичу
ИЛЬИНЫМ
посвящаю.

Автор

Великий пост

Ч и с т ы й п о н е д е л ь н и к

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенные вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется» — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!» Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милоч, не нежься... — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел пост — отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петть будут — «душе моя, душе моя», — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный — тоже священный будто. Он еще до́свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — Чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый... на Василь Василича так?

— А, грехи... — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, всё равно как последние дни пришли...

по закону-то! Читай «Господи и Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

*И свято-е... воскресение Твое
Сла-а-вим!*

Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницею дней поста — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ефимонах теперь читается.

— Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожидаться.

И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: пом-ни... по-мни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-мни... Это жалостный колокол по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина — «Красавица на пиру» — закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «пряжнишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох,

маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплотой пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы — весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна — Бог.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только

вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями... прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... Чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... — докладывает, нагибаясь, Василь Василич и всё отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте... все спол-на-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

— Чуть не изувечили публику! Пьяные с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антитресу. К ночи пьяные навалились — катай! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

— А ты трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли!

А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали и с кульками... Очень я им пондравился...

– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

– Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масляной не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антире-су-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благо-родно... все веселения, чтобы для тишины.

– Антошка с Глухим как, лежат?

– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался было я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал

домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай... — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Пстой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москвы-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощение просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти. Скриплю дверь. Отец в сером халате, скучный — я вижу его нахмуренные брови, — считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и — звонко — серебро.

— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты — «от угара». Плотники, сходявшие в баню, отдыхают, починают полшубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огром-

ных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

– ...и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

– Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, — чи-чи-чи...

Я тихо сажу и слушаю.

После унылого обеда в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.

– А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прошусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! И в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь Василича.

— Василь Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону, и строго, Василь Василич. — Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

— А ты не серчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

— А так, что вчера ломились на горы, масляная... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

— Нечего проклажаться! Эй, ребята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвалят — некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

– Постишься, Вася? — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинki-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой. Начинают печально благовестить — пом-ни... по-мни... — к ефимонам.

– Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

– Василь Василич... зайти-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий блавест, Горкин мне говорит взволнованно, — дрожит у него голос:

– Так и поступай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... печи. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хорошие, они ценют...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий блавест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... — я и теперь его слышу в сердце.

Ефимоны

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело издыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

— Горкин, — спрашиваю его, — а почему стояния?

— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

— Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще — радостные слова: «чаю воскресения мертвых!» Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целому-дрие» — будто звон слышится? Другие это слова, не наши; Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там — прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещенье в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, — много-много. И все мы туда при ставим ся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны, и благовест печальный — пом-ни — по-мни...

И кругом уже все — т а к о е. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва-халвой, — совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

– Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?

Он говорит — это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человек, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

– Пожалуй, что и вся тварь воскреснет... — задумчиво говорит Горкин. — А за что же судить! Она — тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг — воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

– Хозяин выгнал за безобразии! — говорит Горкину половой. — Дни строгие, а он с масляной все прощает, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

– За шары подавай..! — кричит парень ужасными словами.

– Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... — кричат половые вслед.

– Пойдем-уж.. грехи с этим народом! — вздыхает Горкин, таща меня. — А хорошо, строго стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не пода-

дут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на первую неделю запирает, и лампы везде горят, афонское масло жгет, от Пантелеимона. Так блюде-от..!

И мне нравится, что блюдет.

Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусовых пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы — пошла работа! Стелется вязкий дух — теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

— Постой-ка, — приостанавливается Горкин на площади, — никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику стоговил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румянький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах — неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная

черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне — постукивают в них кости.

– Жирнову, что ли? — спрашивает у народа Горкин.

– Ему-покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он — как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны, и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпуску обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку — через реденький коленкор сквозится сено — жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает — по-мни... по-мни...

– В Писании-то как верно — «человек, яко трава»... — говорит сокрушенно Горкин. — Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи

с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там...

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

— Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, — ласково просит Горкин. — «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.

— Ладно, поворчу... — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. — В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте... — хрипит Ломшаков, заглывая подковку с маком. — С прошлого года вашу кулебячку помню.

— Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

— А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное.

И ризы на престоле — великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», — серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева — трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот — «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стучается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —

*По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасе-ние...
Сей мо-ой Бо-ог...*

И начались ефимоны, стояние.

Я слушаю страшные слова: «Увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душе-блудница... во тьме остави мя, окаянного!..»

Помилуй мя, Бо-же... поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть,

а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки... «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, — и падаю на колени, в страхе.

*Душе мо-я... ду-ше-е мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа...аа-ется...*

Господи, приближается... Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь — и вижу отца. Он стоит у Распятая. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» — молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои — в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками... На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай... “Господи Сил”»... И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой —

*Го-споди Си...ил,
Поми-луй на-а...а...ас!*

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом:

Господи и Владыко живота моего...

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я — ровно двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного»... И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаясь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящичке, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» — думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. — Непременно воскреснут! А это... только на время страшно...»

Дремлет моя душа, устала...

— Крестись, и пойдем... — пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. — Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.

Уже совсем темно, но фонари еще не горят — так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом — к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги

с грохотом: только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза: там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то..? Да нет, не надо...

— Глянь-ко, опять мотается! — весело говорит Горкин. — Он самый, у бассейны-то!..

У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.

— Никак все с шарами не развяжется!.. — смеются люди.

— Это я-та не развяжусь?! — встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. — Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..

Треснуло — и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.

— Вот и развязался! Завтра грибами заторгую... а теперь чай к Митреву пойдем пить... шабаш!..

— Вот и очистился... ай да парень! — смеется Горкин. — Все грехи на небо полетели.

И я думаю, что парень — молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, — первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стучают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче...

— Нет, не галки это, — говорит, прислушиваясь, Горкин, — грачи летят. По гомону их знаю... самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..

У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только.

Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.

– Эй, Мураша... давай-ко ты нам с ним горячих вязочку... с пылу, с жару, на грош пару!

Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.

– С Великим постом, кушайте, сударь, на здоровьице... самое наше постное угощение — бараночки-с.

Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки — жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много — и все чудесные.

Мартовская капель

...**К**ап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...
Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее, обещающее — кап-кап... Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель:

Под сосенкой — кап-кап...

Под елочкой — кап-кап...

Прилетели грачи — теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно — поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.

В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся — кап-кап... Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.

...кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...

Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.

Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кровати сняли, когда я спал, — в доме большая

стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет... — тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москву-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.

Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам от Бога спускаются с неба Ангелы — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!

На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырьки-глазочки видны и пятнышки... и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно — шары! Это мои шары гуляют: вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, — ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички — я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как Ангелы.

А блеска все больше, больше. Золотой искрой блещит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жостью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои... Прыгают журавли и лисы,

уже веселые, потому что весны дождалась, — это какие подружились, даже покумилась у кого-то на родинах, — самые веселые обои. И пушечка моя, как золотая... и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, выются, как золотые нитки. Весна, весна!..

И шум за окном особенный.

Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот... — не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:

— Эй, смотри у меня, робята... к обеду чтобы!..

Слышен и голос Горкина, как комарик:

— Снежком-то, снежком... поддолбливай!

Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили.

Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, — весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце — зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки... Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:

— Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..

Летят голубые глыбы, стучаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.

— Порожняки, отъезжай... чер-ти!.. — кричит Василь Василич, попрыгивая по глыбам. — Стой... который?.. Сорок семьей, давай!..

Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла.

Ишь, как спешит капель — барабанит, как ливень дробный. А Василь Василич совсем по-летнему — в розовой рубашке и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют, швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу — рекою пахнет, живой рекою!..

В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь Василичем и вдруг — толкает. Василь Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами — летит и пушится снег, залепляет Василь Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозитя, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеваться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку... но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются... — и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:

– Ну, будет баловаться... Поживей-поживей, ребята... к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!

С крыши ему кричат:

– Нам не под нос, а в самый бы роток попало!
Ну-ка, робят, уважим хозяину, для весны!

*...И мы хо-зяину ува-жим,
Ро-бо-теночкой до-ка-жем...*

Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:

– Ну, не время теперь, ребята... пост!

– Огурчики да копустку охочи трескать, и без песни поспеете! — поокивает Василь Василич.

Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень — на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.

– Гляди... там!.. — кричат где-то, над головой.

Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, — и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валяются снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю-любуюсь: совсем метель, даже не видно солнца, — такая радость!

К обеду — ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами,

белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба — словно снежком хрустят. Хоть и Великий пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.

— Го-ры какие были... а все упрятали!

Спрятались в погребца все горы. Ну, будто в сказке: Василиса Премудрая сказала.

Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда — весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, — кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.

По завейному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее — не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:

— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..

— И не трожь ее лучше, Вася... — советует и Горкин. — Спокон веку она живет. Так уж тут ей положено. Кто ее знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...

Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.

– И до нас была, Господь с ней... о-оставь.

А Василь Василич все думает. Ходит и крикает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Подкрякивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою... Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи — от спокойного старого двора.

– Была как — пушай и будет так! — решает Василь Василич. — Так и скажу хозяину.

– Понятно, так и скажи: пушай ее остается так.

Подкрякивают и утки, радостные, — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой — кап-кап-кап... И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне — так-так. И безмятежно отстукивает сердце — так-так...

Содержание

Праздники

Великий пост

Чистый понедельник5

Ефимоны..... 16

Мартовская капель27

Постный рынок.....34

Благовещение 44

Пасха59

Розговины..... 74

Царица Небесная84

Троицын день97

Яблочный Спас..... 110

Рождество122

Святки

Птицы Божьи 131

Обед «для разных»140

Круг царя Соломона152

Крещение.....162

Масленица 176

Праздники – Радости

Ледоколе	195
Петровками	209
Крестный ход	
«Донская»	221
Покров.....	237
Именины	
<i>Преддверие</i>	251
<i>Празднование</i>	263
Михайлов день	284
Филипповки	299
Рождество	313
Ледяной дом	325
Крестопоклонная	340
Говенье	353
Вербное воскресенье	367
На Святой	381
Егорьев день	394
Радоница	406

Скорби

Святая радость	421
Живая вода	439
Москва.....	453
Серебряный сундучок	464

Горькие дни	481
Благословение детей	494
Соборование.....	504
Кончина.....	515
Похороны.....	529